

Семен Липкин (1911-2003): «Каждый решал по-своему»

...Это интервью с Семеном Липкиным, сделанное 6 февраля 1994 года, было опубликовано в газете «Сегодня» с сокращениями.

Чуть позже состоялось другое – с женой Липкина, поэтом Инной Лиснянской.

...Начиная с первого телефонного звонка, когда я договаривалась с Семеном Израилевичем об интервью, и он подробно, чуть не по шагам, объяснял дорогу до их писательского дома в районе метро «Аэропорт» в Москве, и до своего последнего вопроса при встрече меня не покидало волнение. Что, впрочем, неудивительно. Будучи знаком с великими поэтами – очень близко с Мандельштамом и Ахматовой, общавшийся с Андреем Белым, Волошиным, Пастернаком, Цветаевой, друживший с Аркадием Штейнбергом, Марией Петровых, Арсением Тарковским, Лидией Корнеевной Чуковской, Липкин сам еще при жизни стал человеком-историей.

Увы, внешние подробности этих встреч почти стерлись. В памяти несколько штрихов.

У Семена Израилевича на голове что-то вроде академической шапочки, или фески, но без перевитого шнура, или узбекской тубетейки, но точно это не кипа. Недавно, отвечая на мой вопрос, что это могло быть, Елена Макарова, падчерица Липкина, пояснила: «У Семена Израилевича было множество головных уборов – и из Средней Азии, и из Израиля, но вовсе не всегда он покрывал голову – он не был ортодоксален».

Есть тому подтверждение и самого поэта:

Правды взыскаю, отвергну вериги я
И не надену ни рясу, ни талес.

детям рабочих, и, наконец, партийным работникам. Я же не только никогда не был комсомольцем, но и пионером...

Напротив, литературная жизнь стала складываться удачно – сразу начал печататься в толстых журналах, хотя тогда это было очень трудно, к стихам и прозе предъявлялись достаточно строгие требования. Вскоре, собрав книжечку стихов, отвез ее в «Недра» – это было довольно любопытное издательство на Варварке. С одной стороны, там печатались такие писатели, как Вересаев, Замятин, Булгаков, а с другой – представители «Кузницы», объединения – выразителя программы РКП. Книжку приняли, но ее издание действительно, как выяснилось позже, запретила цензура – явление, кстати сказать, в ту пору очень редкое, ибо пока еще продолжался нэп, хотя он и был уже на исходе.

В одной из редакционных комнат, где размещались «Недра», сидел человек, не совсем обычно одетый – у него были удивительно твердые манжеты, он немного дергал головой (уже потом я узнал, что это проявление его не очень сильно выраженного заболевания), и я решил, что чем-то он мной недоволен. «Молодой пиит! – неожиданно заметил он, обращаясь ко мне. – Вы хорошо начинаете, коли цензура вас запретила!» Это был Михаил Булгаков...

– Что же было крамольного в вашей книге?

– Еще в Одессе я сотрудничал с одной из тамошних газет, был внештатным репортером. Как-то меня направили в деревню, где убили селькора. Тогда были модны убийства такого рода. И вот уже на месте оказалось: в самом деле, убили молодого парня. Но – из ревности. Никакой политической подоплеки за этим событием не было. Об этом я написал небольшую поэму строк в четыреста.

Так вот, книжечка получилась крохотная – что я успел написать к восемнадцати годам? Да еще надо было отобрать более или менее приличное, поэтому представил несколько стихотворений, ранее уже опубликованных в «Новом мире», «Октябре», «Молодой гвардии», в альманахе «Земля и фабрика» (принадлежавшее «Кузнице», это издание тем не менее было престижным – там печатались, скажем, Пастернак, Багрицкий, уже упоминавшийся Замятин, там же вышла и моя первая подборка), а также ту поэму, которая и вызвала недовольство цензоров: как так не увидеть за таким

жутким преступлением никаких политических мотивов?! Возможно, был бы я более опытным – обратился бы к кому-нибудь за советом, поддержкой. Но я был еще не сведущ в издательских делах.

– И опять же в эпоху борьбы за соцреализм требовался именно классовый подход – касалось ли это, допустим, написания книги или постановки спектакля?

– Как раз классового-то и не было. Например, Алексей Николаевич Толстой – граф, однако он очень пригодился советской литературе!.. А Артем Веселый, один из немногих писателей, вернувшихся с фронтов Гражданской с орденом (Фадеев тоже участвовал в Гражданской войне, однако у него не было такой награды), впоследствии был уничтожен... Демонстрировался государственный подход: нужен ты государству или нет. В сущности, что означал социалистический реализм? Метод, с помощью которого искусство должно было служить государству. Литература тоже была делом государства. Но так как государство обширное и потребности его весьма разнообразны, то в печать нет-нет да и попадали хорошие книги. Скажем, Зощенко, Булгакова, Бабеля, Платонова, Гроссмана... Правда, это было скорее исключением из общего правила.

– Даже по названиям («Возвращение из Египта», «Последняя ночь Авраама», «В ковчеге», «Богородица», «Моисей», «Он, я и Ты», «Огонь связующий и жаркий...», «Ты мысль о мысли или скорбь о скорби?...», «Одесская синагога») и насыщенности ваших стихов библейскими именами, реалиями и сюжетами нетрудно понять, что взаимоотношения человека с Богом – у вас один из ведущих неизменных мотивов. И так же всегда вы без иллюзий смотрите на время, умея «различать / Прямую мощь избитых истин / И кривды круглую печать». Вот строки из другого, еще более давнего стихотворения:

**С самим собою лицемерный,
Проклявший рай, забывший ад,
Наш век безверный, суеверный,
Наш век – вертеп и вертоград...**

Согласны ли вы с утверждением, что насаждавшийся советской властью атеизм негативно отразился на всем и вся, в частности, на литературе?

– Прежде всего, атеизм развратил души людей. Октябрьская революция совершила два чудовищных преступления: превратила атеизм в государственную идеологию и лишила человека понятия собственности. Между тем понятие собственности очень важно для человека. Потому что – не хочу быть парадоксальным – связано с верой в Бога. Человек есть творец. Он творит книги, гвозди, ботинки – словом, кто что умеет. И когда осознает, что есть Нечто Высшее, Творящее, то и его творчество становится жизненной потребностью. Потребностью иметь собственность и молиться Тому, Кто сотворил все. Конечно, можно не веровать в Бога. Это право каждого. Например, Афанасий Фет не верил в Бога. Но он верил в некую Высшую силу, которая не подчинена арифметическому сознанию, и создал насквозь религиозную лирику.

– Если бы не революция 1917-го, все ли из тех, кто официально считался мастером советской литературы, стали бы столь известны?

– Был бы, допустим, Фадеев писателем, если бы не революция? Да, но не в первом ряду и даже не во втором. Наделенный, бесспорно, литературным дарованием, но очень скромным, он пошел по иному пути – стал начальником, членом ЦК партии, ставил подпись под решением об аресте того или иного писателя. Может быть, поступал так против своей воли – оттого и запои, и в конце концов самоубийство. Все это не случайно...

Но в советское время появилось и много замечательных произведений. По-новому развернулся гений Ахматовой, Мандельштама... Самое крупное, что они написали, создано после революции, несмотря на гонения и репрессии со стороны властей. Вообще, быть писателем – значит обречь себя на трагедию. Всегда. При всех режимах.

– Что подтверждает и ваша судьба. Та ваша так и не увидевшая читателя книга далеко не единственный ее удар. Об этом – дальше. А пока вернемся в начало 1930-х. Тогда вы и ушли в переводы?

– Постепенно. Окончательно победившая всех РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) старалась съесть очень крупных в то время, очень важных писателей, таких как Фадеев, Леонов, а уж о молодых, беспомощных и говорить нечего. Так вот, я и мои друзья – Мария Петровых, Аркадий Штейнберг, Арсений Тарковский, – оказавшись среди тех, кто не мог печататься, ради хлеба насущного взялись за переводную литературу. Но впоследствии я увлекся этой работой...

– И так серьезно и основательно, что стали, по признанию специалистов, классиком художественного перевода, переложив за более чем полвека на русский язык тысячи строк: поэмы Фирдоуси, Лутфи, Джамии, Навои, калмыцкий, киргизский, татарский, нартский, бурятский эпос и так далее...

– Меня действительно заинтересовала история мусульманства, религия народов Средней Азии, буддизм калмыков. В общем, не только заработок заставлял меня заниматься этим делом, хотя, конечно, в основе были меркантильные соображения и заботы.

– В глазах официальной власти вы считались диссидентствующим поэтом довольно долго...

– Нет, я вообще считался не поэтом, а поэтом-переводчиком. Четверть века (с 1931 года) в вынужденном молчании – самое время, когда надо было печататься... Опубликовал мои стихи уже Александр Твардовский в «Новом мире» в 1956 году...

– А в 1957-м тем не менее у вас появляется стихотворение с названием, говорящим само за себя, – «Призраки»:

**Нас нет в печатных обзорах,
Мы призраки, о которых
Не знает никто.
Не сломимся, хоть согнемся,
Едва лишь для Бога проснемся,
Мы пишем про то,**

**Что дышит смертельно и трудно,
Хоть сверху живет, а подспудно,
Про слезы и стыд,
Про то, что в грязи прозябает,
Себя самое презирает,
Себя победит.**

Свою первую книгу оригинальных стихов «Очевидец» вы выпустили только в 1967 году. Потом «Метрополь», выход из Союза писателей... Снова обрекли себя на испытания...

– У нас, участников «Метрополя», была между собой договоренность, согласно которой, если начнутся репрессии в отношении хотя бы одного, все остальные воспримут это так, как будто и их исключили. С чего начал карательные меры Союз писателей? С исключения двух своих самых молодых, только-только принятых, еще даже не успевших получить билеты членов – Евгения Попова и Виктора Ерофеева. Впятером – Василий Аксенов, Инна Лиснянская, я, Фазиль Искандер, Андрей Битов (у Беллы Ахмадулиной было отдельное послание) – написали письмо, в котором заявили: если не восстановят наших двух исключенных со товарищей, все мы выйдем из союза. В конце концов вышли трое: Аксенов, Лиснянская и я. Василий Аксенов уехал в Америку, а мы – остались.

– То есть вы с Инной Львовной пострадали больше всех метропольцев?

– Получается так. Мы считали, что отступить от своего слова невозможно.

– Что остановило ваших коллег?

– Каждый решал по-своему. Мы же не были какой-то партией. «Метрополь» собрал разных людей – по возрасту, по своим литературным симпатиям, художественным воззрениям. Так что каждый поступал, как хотел того сам.

– Видимо, не случайно, вспоминая те события, Виктор Ерофеев заметил: «Им (Лиснянской и Липкину. – Е. К.) пришлось хуже всех: они лишились почти всех средств к существова-

нию. Мы всегда относились к ним как к героическим личностям». Подтверждением и ваши строки:

**Вот и новый день глаза смыкает,
И его одела пелена,
Но в душе моей не умолкает
Негодующая тишина.**

**Немоты надменная основа,
Ты прочнее, чем словесный хруст,
Но как трудно, стыдно прятать слово,
Вырваться готовое из уст.**

– Было очень тяжело... Наложили запрет на профессию – перестали печатать. Правда, у нас остались две пенсии... Мы подверглись, правда, не очень страшным, но репрессиям. Без нас входили в дом. Вот, например, на этом письменном столе лежало зеркало – в наше отсутствие его изрезали... Постоянные вызовы на «проработки», допросы (за рубежом в это время в издательствах «Ardis», «УМСА-Press» стали выходить наши книжки – что, с точки зрения советских властей, считалось делом предосудительным). Особенно мучили Инну Львовну. Но она была очень тверда.

Уезжать мы не хотели, хотя нас, наоборот, выталкивали всеми силами из страны.

– Значит, в те же 1980-е сказали так вовсе не без оснований?

**Боюсь, что принудят меня
Покинуть Советский Союз.**

– Помню такой случай. Кажется, это был 1982 год. Мы с Инной Львовной в Переделкине снимали комнату у нашей знакомой – вдовы профессора Николая Леонидовича Степанова. Както часов в десять вечера вместе с Кларой Лозовской, секретарем Корнея Ивановича Чуковского, возвращались из гостей – были у нашей приятельницы, литературного критика Сары Бабенышевой, живущей сейчас в Америке. Вдруг машина, идущая нам

навстречу, останавливается, причем таким образом, что перегораживает дорогу. Выходит водитель, такой рыжеватый, как теперь говорят, крутой парень, и говорит: «Долго вы еще будете здесь жить?». Я притворился, что не понимаю, о чем речь. «Вот, – отвечаю, – до весны». – «Нет, я спрашиваю, на этой земле долго еще будете жить?» Тут я рассердился, схватил его за шкуру, но он, вывернувшись, так легко, незаметно ударил по руке, что у меня расстегнулась дубленка. В общем, он стал нам угрожать. Тут подъехало несколько автомашин, и, поскольку его машина мешала движению, он вынужден был сесть за руль. Тем временем мы юркнули сквозь забор одной дачи, и Клара Лозовская вывела нас к дому Чуковского. Там и переночевали. И уже со второго этажа, из кабинета Корнея Ивановича, наблюдали за этой злополучной машиной, еще долго кружившей по улице Серафимовича. На следующий день домработница Степанова сказала, что нами интересовался какой-то человек, несколько часов около дома поджидал автомобиль...

Нас мучили вплоть до 1986 года. Вызывают как-то во Фрунзенский исполком, там присутствовал и представитель Лубянки, и говорят, мол, жители Фрунзенского района могут возмутиться тем, что вы здесь живете, и потребовать выселить вас из Москвы. «Как же так, – недоумеваю, – совсем недавно один знатный житель Фрунзенского района меня поздравлял и пожелал творческих успехов!» «Кто такой?» – раздраженно спрашивает чекист. «Военком, вручавший мне орден Отечественной войны...» (Этот год я точно запомнил – 1985, годовщина Победы.) Мне казалось, что я очень остроумно ответил, но никто из них на это замечание никак не отреагировал. Потом, уже обращаясь к Инне Львовне и указывая на «Континент», – новое негодование: «Вот вы где печтаетесь!» «Да? – обрадовалась она. – А у нас этого номера нет!..»

Там был еще один человек, назвавший себя представителем общества «Знание». Не помню точно ход его мысли, но он, в общем, сказал, что любит Цветаеву, мол, не такой уж простой – разбирается, что почем, и стал перечислять ее книги. Я слушаю, а потом добавляю: «И «Лебединый стан». «Да, – как ни в чем не бывало подтверждает он, – и «Лебединый стан». Тогда спрашиваю его: «Что же вы нам угрожаете высылкой из Москвы? Ведь

«Лебединый стан» – гимн в честь белой армии, а в наших стихах нет ничего политического!»

В 1986 году я серьезно заболел. Была онкологическая операция. Очень тяжелая. Жена все время, что я лежал в больнице, находилась со мной. И вот на несколько месяцев – перед второй операцией – меня должны были привезти домой. Инна Львовна приехала чуть раньше – прибраться в квартире. Только вошла, еще не успела снять пальто, телефонный звонок. «Опять про вас по радио говорили!» – крикнул не назвавший себя. «О Горбачеве сколько по радио говорят, а вы никак не реагируете!..» – ответила она. На том конце провода положили трубку. В общем, это были противные годы.

– А сейчас вы чувствуете перемены к лучшему?

– Да, вполне. В 1987 году нас восстановили в Союзе писателей – сначала меня, потом Инну. Стали печатать. Пожалуй, я сегодня опубликовал почти все, по крайней мере процентов восемьдесят того, что написал за всю жизнь. Остальное находится в столе по каким-то другим причинам. Скажем, самому не нравится и тому подобное. То же самое у Инны Львовны – все хорошо.

– Ваше поэтическое кредо выражено предельно ясно:

**Ужели красок нужен табор,
Словесный карнавал затей?
Эпитетов или метафор
Искать ли горстку поновей?**

**О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они,**

**Чтоб их священник в нищем храме
Сказал седым и молодым,
А те устами и сердцами
Их повторяли вслед за ним...**

Вы – один из немногих российских поэтов традиционного классического направления...

– Считаю, что поэзия всегда традиционна. Наш знаменитый историк Владимир Ключевский как-то высказал такую замечательную мысль: «...поэзия не знает хронологии...». Кто современнее: Гомер или, скажем, Пригов? Все зависит от таланта. «Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново». Это фраза Чехова. Вообще, говорить о себе: «Я поэт», – все равно что заявлять: «Я умен, красив, талантлив». Мы пока еще не знаем, кто останется в памяти потомков, а кого забудут.

– На эту же тему у вас, например, стихотворение «Забывшие поэты», в котором вы довольно беспощадны и к себе:

**Я читаю забытых поэтов.
Почему же забыты они?
Разве краски закатов, рассветов
Ярче пишутся в новые дни?**

**Разве строки составлены лучше
И пронзительней их череда?
Разве терпкость неожиданных созвучий
Неизвестна была им тогда?**

**Было все: и восторг рифмованья,
И летучая живость письма,
И к живым, и к усопшим взыванья, –
Только не было, братцы, ума.**

**Я уйду вместе с ними, со всеми,
С кем в одном находился числе...
Говорят, нужен разум в эдеме,
Но нужнее – на грешной земле.**

И все-таки есть ли, по вашему мнению, в современной поэзии имена, которые останутся в истории?

– Безусловно, у нас были и есть поэты, достойные своих предшественников. Правда, немного. Я выделяю три имени, стоящие на вершине Парнаса, – Заболоцкий, Тарковский, Бродский. Вовсе не сбрасывающий Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета с парохода современности, последний из названных – Иосиф Бродский – один из тех, кто ведет этот корабль. Всегда были истинные и второстепенные поэты, и просто люди со стихотворными способностями, ну и, конечно, бездарности...

– В повести «Записки жильца» (ноябрь 1962 – февраль 1976) вы пишете: «Семнадцатый год имел предшественников в прошлые времена <...> но только в семнадцатом году впервые за всю свою победную мощь народ восстал не против деспотии, а против демократии. Националистический социализм <...> иногда называемый фашизмом, есть самое реакционное движение самых широких народных масс». История повторилась?

– Если вы имеете в виду события минувшей осени (внутриполитический конфликт в РФ 21 сентября – 4 октября 1991 года, известный как «расстрел Белого дома». – Е. К.), а также итоги прошлогодних выборов, то все это – результат октябрьского переворота 1917 года. И хотя все и связано, никогда ничего в истории не повторяется.

Однако мы стали свидетелями и замечательных событий – прежде всего, крушения коммунизма. Свершилось то, о чем я мечтал с первых моих сознательных лет. Думал, что не доживу до этого счастливого дня...

Мне восемьдесят третий год. Жить мне интересно!.. Возможно, беды, и немалые, в России еще будут, но Бог не даст, чтобы зло победило. Помните рассказ Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет»? Обязательно скажет...

